

Лев Николаевич

Толстой

Метель

Государственное издательство

«Художественная литература»

Москва – 1935

Электронное издание осуществлено

в рамках краудсорсингового проекта

«Весь Толстой в один клик»

Организаторы:

Государственный музей Л.Н. Толстого

Музей–усадьба «Ясная Поляна»

Компания АBBYY

Подготовлено на основе электронной копии 3–го тома

Полного собрания сочинений Л.Н. Толстого, предоставленной

Российской государственной библиотекой

Электронное издание

90–томного собрания сочинений Л.Н. Толстого

доступно на портале

[www.tolstoy.ru](http://www.tolstoy.ru)

Если Вы нашли ошибку, пожалуйста, напишите нам

[info@tolstoy.ru](mailto:info@tolstoy.ru)

#### Предисловие к электронному изданию

Настоящее издание представляет собой электронную версию 90-томного собрания сочинений Льва Николаевича Толстого, вышедшего в свет в 1928–1958 гг. Это уникальное академическое издание, самое полное собрание наследия Л.Н.Толстого, давно стало библиографической редкостью. В 2006 году музей-усадьба «Ясная Поляна» в сотрудничестве с Российской государственной библиотекой и при поддержке фонда Э. Меллона и координации Британского совета осуществили сканирование всех 90 томов издания. Однако для того чтобы пользоваться всеми преимуществами электронной версии (чтение на современных устройствах, возможность работы с текстом), предстояло еще распознать более 46 000 страниц. Для этого Государственный музей Л.Н. Толстого, музей-усадьба «Ясная Поляна» вместе с партнером – компанией АBBYY, открыли проект «Весь Толстой в один клик». На сайте [readingtolstoy.ru](http://readingtolstoy.ru) к проекту присоединились более трех тысяч волонтеров, которые с помощью программы АBBYY FineReader распознавали текст и исправляли ошибки. Буквально за десять дней прошел первый этап сверки, еще за два месяца – второй. После третьего этапа корректуры тома и отдельные произведения публикуются в электронном виде на сайте [tolstoy.ru](http://tolstoy.ru).

В издании сохраняется орфография и пунктуация печатной версии 90-томного собрания сочинений Л.Н. Толстого.

Руководитель проекта «Весь Толстой в один клик»

Фекла Толстая

Перепечатка разрешается безвозмездно

-----

Reproduction libre pour tous les pays.

#### ПРЕДИСЛОВИЕ К ТРЕТЬЕМУ ТОМУ ПОЛНОГО СОБРАНИЯ СОЧИНЕНИЙ.

В настоящий том входят шесть произведений 1852–1856 гг.: «Набег», «Рубка леса», «Разжалованный» («Встреча в отряде с московским знакомым»), «Записки маркера», «Метель» и «Два гусара».

Рукописный материал, впервые печатаемый в этом томе, представлен двумя незаконченными произведениями: «Поездка в Мамакай-юрт» и «Дяденька Жданов и кавалер Чернов», затем вариантами рассказа «Разжалованный», которые показывают, на какие цензурные уступки вынужден был идти Толстой, наконец, вариантами к «Набегу», «Рубке леса» и «Запискам маркера». Из двадцати четырех вариантов «Набега» впервые публикуются пятнадцать; впервые печатаются единственный сохранившийся набросок начала «Рубки леса», а также семь вариантов «Записок маркера».

Рассказ «Святочная ночь (Как гибнет любовь)», в последние годы дважды напечатанный по новой орфографии, впервые дан в орфографии подлинника. Страничка с перечнем глав этого произведения, сделанным в процессе его создания, и два варианта печатаются впервые.

Печатные варианты к «Набегу», «Рубке леса» и «Запискам маркера» по журнальным текстам дают представление об исключительно-суровых цензурных условиях, при которых эти рассказы впервые увидели свет.

В текстологических работах над рассказами «Святочная ночь», «Дяденька Жданов и кавалер Чернов» и «Записки маркера» принимали участие А. И. Толстая-Попова и П. С. Попов.

Н. М. Мендельсон.

С. Л. Толстой.

Москва, 24 июня 1930 г.

#### РЕДАКЦИОННЫЕ ПОЯСНЕНИЯ К ТРЕТЬЕМУ ТОМУ ПОЛНОГО СОБРАНИЯ СОЧИНЕНИЙ.

Тексты произведений, печатавшихся при жизни Л. Н. Толстого, печатаются по новой орфографии, но с сохранением больших букв и начертаний до-Гротовской орфографии в тех случаях, когда эти начертания отражают произношение Л. Н. Толстого и лиц его круга (брычка, пожалуста).

При воспроизведении текстов, не печатавшихся при жизни Л. Н. Толстого (произведения неотделанные, незаконченные, только начатые и черновые тексты), соблюдаются следующие правила.

Текст воспроизводится с соблюдением всех особенностей правописания, которое не унифицируется, т. е. в случаях различного написания одного и того же слова все эти различия воспроизводятся («этаго» и «этого»).

Слова, не написанные явно по рассеянности, дополняются в прямых скобках, без всякой оговорки.

В местоимении «что» над «о» ставится знак ударения в тех случаях, когда без этого было бы затруднено понимание. Это «ударение» не оговаривается в сноске.

Ударения (в «что» и других словах), поставленные самим Толстым, воспроизводятся, и это оговаривается в сноске.

Условные сокращения (т. н. «аббревиатуры») типа «кый», вместо «который», и слова, написанные неполностью, воспроизводятся полностью, причем дополняемые буквы ставятся в прямых скобках: «к[отор]ый», «т[акъ] к[акъ]» и т. п., лишь в тех случаях, когда редактор сомневается в чтении.

Слитное написание слов, объясняемое лишь тем, что слова в процессе беглого письма, для экономии времени и сил, писались без отрыва пера от бумаги, не воспроизводится.

Описки (пропуски букв, перестановки букв, замены одной буквы другой) не воспроизводятся и не оговариваются в сносках, кроме тех случаев, когда редактор сомневается, является ли данное написание опиской.

После слов, в чтении которых редактор сомневается, ставится знак вопроса в прямых скобках: [?].

На месте не поддающихся прочтению слов ставится [1 неразобр.] или: [2 неразобр.], где цифры обозначают количество неразобранных слов.

Из зачеркнутого в рукописи воспроизводится (в сноске) лишь то, что редактор признает важным в том или другом отношении.

Незачеркнутое явно по рассеянности (или зачеркнутое сухим пером) рассматривается как зачеркнутое и не оговаривается.

Более или менее значительные по размерам места (абзац или несколько абзацев, глава или главы), перечеркнутые одной чертой или двумя чертами крест-на-крест и т. п., воспроизводятся не в сносках, а в самом тексте и ставятся в ломаных < > скобках; однако в отдельных случаях допускается воспроизведение зачеркнутых слов в ломаных < > скобках в тексте, а не в сноске.

Написанное Толстым в скобках воспроизводится в круглых скобках.

Подчеркнутое печатается курсивом.

В отношении пунктуации: 1) воспроизводятся все точки, знаки восклицательные и вопросительные, тире, двоеточия и многоточия (кроме случаев явно ошибочного употребления); 2) из запятых воспроизводятся лишь поставленные согласно с общепринятой пунктуацией; 3) ставятся все знаки в тех местах, где они отсутствуют с точки зрения общепринятой пунктуации, причем отсутствующие тире, двоеточия, кавычки и точки ставятся в самых редких случаях.

При воспроизведении «многоточий» Толстого ставится столько же точек, сколько стоит у Толстого.

Воспроизводятся все абзацы. Делаются отсутствующие в диалогах абзацы без оговорки в сноске, а в других, самых редких случаях – с оговоркой в сноске: Абзац редактора.

Примечания и переводы иностранных слов и выражений, принадлежащие Толстому и печатаемые в сносках (внизу страницы), печатаются (петитом) без скобок.

Переводы иностранных слов и выражений, принадлежащие редактору, печатаются в прямых [ ] скобках.

Обозначения в оглавлении томов, на шмуцтитулах и в тексте, как при названиях произведений, так и при номерах вариантов, означают:

\* – что печатается впервые,

\*\* – что напечатано после смерти Л. Толстого,

\*\*\* – что не вошло ни в одно из собраний сочинений Толстого и

\*\*\*\* – что печаталось со значительными сокращениями и искажениями текста.

Фототипия с фотографии Л. Н. Толстого, снятой в 1854 [?] г. (размер подлинника) – между 12 и 13 стр.

МЕТЕЛЬ.

РАССКАЗ.

(1856)

I.

В седьмом часу вечера, я, напившись чаю, выехал со станции, которой названия уже не помню, но помню, где-то в Земле Войска Донского, около Новочеркаска. Было уже темно, когда я, закутавшись в шубу и полость, рядом с Алешкой уселся в сани. За станционным домом казалось тепло и тихо. Хотя снегу не было сверху, над головой не виднелось ни одной звездочки, и небо казалось чрезвычайно низким и черным сравнительно с чистой снежной равниной, расстилавшейся впереди нас.

Едва миновав темные фигуры мельниц, из которых одна неуклюже махала своими большими крыльями, и выехав за станицу, я заметил, что дорога стала тяжелее и засыпаннее, ветер сильнее стал дуть мне в левую сторону, заносить в бок хвосты и гривы лошадей и упрямо поднимать и относить снег, разрываемый полозьями и копытами. Колокольчик стал замирать, струйка холодного воздуха пробежала через какое-то отверстие в рукаве за спину, и мне пришел в голову совет смотрителя не ездить лучше, чтоб не проплутать всю ночь и не замерзнуть дорогой.

– Не заблудиться бы нам? – сказал я ямщику. Но, не получив ответа, яснее предложил вопрос: – Чтò, доедем до станции, ямщик? не заблудимся?

– А Бог знает, – отвечал он мне, не поворачивая головы, – вишь, какая поземная расходится: ничего дороги не видать. Господи-батюшка!

– Да ты скажи лучше, надеешься ты довести до станции или нет? – продолжал я спрашивать. – Доедем ли?

– Должны доехать, – сказал ямщик и еще продолжал говорить что-то, чего уже я не мог расслышать за ветром.

Ворочаться мне не хотелось; но и проплутать всю ночь в мороз и метель в совершенно голой степи, какова эта часть Земли Войска Донского, казалось очень невесело. Притом же, несмотря на то, что в темноте я не мог рассмотреть его хорошенько, ямщик мой почему-то мне не нравился и не внушал к себе доверия. Он сидел совершенно посередине, с ногами, а не сбоку, роста был слишком большого, голос у него был ленивый, шапка какая-то не ямская – большая, раскачивающаяся в разные стороны; да и понукал он лошадей не так, как следует, а держа вожжи в обеих руках, точно как лакей, который сел на козлы за кучера, и, главное, не доверял я ему почему-то за то, что у него уши были подвязаны платком. Одним словом, не нравилась и как будто не обещала ничего хорошего эта серьезная, сгорбленная спина, торчавшая передо мною.

– А по-моему лучше бы воротиться, – сказал мне Алешка: – плутать-то чтò веселого!

– Господи-батюшка! вишь, несет какая кура! ничего дороги не видать,

все глаза залепило... Господи-батюшка! – ворчал ямщик.

Не проехали мы четверти часа, как ямщик, остановив лошадей, передал вожжи Алешке, неловко выпростал ноги из сиденья и, хрустя большими сапогами по снегу, пошел искать дорогу.

– Чтò? куда ты? сбились, что ли? – спрашивал я; но ямщик не отвечал мне, а, отвернув лицо в сторону от ветра, который сек ему глаза, отошел от саней.

– Ну чтò? есть? – повторил я, когда он вернулся.

– Нету ничего, – сказал он мне вдруг нетерпеливо и с досадой, как будто я был виноват в том, что он сбился с дороги, и, медлительно опять просунув свои большие ноги в передок, стал разбирать вожжи замерзлыми рукавицами.

– Чтò ж будем делать? – спросил я, когда мы снова тронулись.

– Чтò ж делать! поедем, куда Бог даст.

И мы поехали тою же мелкой рысью, уже очевидно целиком, где по сыпучему в четверть снегу, где по хрупкому голому насту.

Несмотря на то, что было холодно, снег на воротнике таял весьма скоро; заметь низовая всё усиливалась, и сверху начинал падать редкий сухой снег.

Ясно было, что мы едем Бог знает куда, потому что, проехав еще с четверть часа, мы не видали ни одного верстового столба.

– Чтò, как ты думаешь, – спросил я опять ямщика: – доедем мы до станции?

– До которой? Назад приедем, коли дать волю лошадям: они привезут; а на ту вряд... только себя погубить можно.

– Ну, так пускай назад, – сказал я: – и в самом деле...

– Стало, ворочаться? – повторил ямщик.

– Да, да, ворочайся!

Ямщик пустил вожжи. Лошади побежали шибче, и хотя я не заметил, чтобы мы поворачивали, ветер переменился, и скоро сквозь снег завиднелись мельницы. Ямщик приободрился и стал разговаривать.

– Анадьсь так-то в заметь обратные с той станции поехали, – сказал он: – да в стогах и ночевали, к утру только приехали. Спасибо еще к стогам прибились, а то все бы чисто позамерзли – холод был. И то один ноги позаморозил, – так три недели от них умирал.

– А теперь ведь не холодно и потише стало, – сказал я: – можно бы ехать?

– Оно тёпло–то тёпло, да метет. Теперь взад, так оно полегче кажет; а метет дюже. Ехать бы можно, кабы кульер али чтò, по своей воле; а то ведь шутка ли – седока заморозишь. Как потом за вашу милость отвечать?

II.

В это время сзади нас послышались колокольчики нескольких троек, которые шибко догоняли нас.

– Колокол кульерский, – сказал мой ямщик: – один такой на всей станции есть.

И, действительно, колокольчик передовой тройки, звук которого уже ясно доносился по ветру, был чрезвычайно хорош: чистый, звучный, басистый и дребезжащий немного. Как я потом узнал, это было охотничье заведение: три колокольчика – один большой в середине, с малиновым звоном, как называется, и два маленькие, подобранные в терцию. Звук этой терции и дребезжащей квинты, отзывавшейся в воздухе, был необыкновенно поразителен и странно хорош в этой пустынной, глухой степи.

– Пошта бежит, – сказал мой ямщик, когда передняя из трех троек поровнялась с нами. – А чтò дорога? проехать можно? – крикнул он заднему из ямщиков; но тот только крикнул на лошадей и не отвечал ему.

Звук колокольчиков быстро замер по ветру, как только почта миновала нас.

Должно быть, моему ямщику стало стыдно.

– А то поедемте, барин! – сказал он мне: – люди проехали – теперь же их следок свежий.

Я согласился, и мы снова повернули против ветра и потащились вперед по глубокому снегу. Я смотрел сбоку на дорогу, чтобы не сбиться со следа, проложенного санями. Версты две след был виден ясно; потом заметна стала только маленькая неровность под полозьями, а скоро уже я решительно не мог узнать, след ли это, или просто наметенный слой снега. Глаза притупели смотреть на однообразное убегание снега под полозьями, и я стал глядеть прямо. Третий верстовой столб мы еще видели, но четвертого никак не могли найти; как и прежде, ездили и против ветра, и по ветру, и вправо, и влево, и наконец дошли до того, что ямщик говорил, будто мы сбились вправо, я говорил, что влево, а Алешка доказывал, что мы вовсе едем назад. Снова мы несколько раз останавливались, ямщик выпрастывал свои большие ноги и лазил искать дорогу; но всё тщетно. Я тоже пошел было раз посмотреть, не дорога ли то, чтò мне мерещилось; но едва я с трудом сделал шагов шесть против ветра и убедился, что везде были одинаковые, однообразные, белые слои снега, и дорога мне виднелась только в воображении, – как уже я не видал саней. Я закричал: «Ямщик! Алешка!» но голос мой – я чувствовал, как ветер подхватывал

прямо изо рта и уносил в одно мгновение куда-то прочь от меня. Я пошел туда, где были сани, – саней не было, пошел направо – тоже нет. Мне совестно вспомнить, каким громким, пронзительным, даже немного отчаянным голосом я закричал еще раз: «Ямщик!» тогда как он был в двух шагах от меня. Его черная фигура с кнутиком и с огромной, свихнувшейся на бок шапкой вдруг выросла передо мной. Он провел меня к саням.

– Еще спасибо – тепло, – сказал он: – а морозом хватит – беда!..  
Господи-батюшка!

– Пускай лошадей, пусть везут назад, – сказал я, усевшись в сани. – Привезут? а, ямщик?

– Должны привезть.

Он бросил вожжи, ударил раза три кнутиком по седелке коренную, и мы опять поехали куда-то. Мы ехали с полчаса. Вдруг впереди нас послышались опять знакомый мне охотничий колокольчик и еще два; но теперь они подвигались нам навстречу. Это были те же три тройки, уже сложившие почту и с обратными лошадьми, привязанными сзади, возвращавшиеся на станцию. Курьерская тройка крупных лошадей с охотничьим колокольчиком шибко бежала впереди. В ней сидел ямщик на облучке и бойко покрикивал. Сзади, в середине пустых саней, сидело по двое ямщиков, слышался их громкий и веселый говор. Один из них курил трубку, и искра, вспыхнув на ветру, осветила часть его лица.

Глядя на них, мне стало стыдно, что я боялся ехать, и ямщик мой, должно быть, испытал то же чувство, потому что мы в один голос сказали: «Поедем за ними».

### III.

Не пропустив еще последней тройки, мой ямщик стал неловко поворачивать и наехал оглоблями на привязанных лошадей. Одна тройка из них шарахнулась, оторвала повод и поскакала в сторону.

– Вишь, чорт косоглазый, не видит! куда воротит – на людей. Чорт! – принялся ругаться хриплым дребезжащим голосом один невысокий ямщик, старичок, сколько я мог заключить по голосу и сложению, сидевший в задней тройке, живо выскочил из саней и побежал за лошадьми, продолжая грубо и жестоко бранить моего ямщика.

Но лошади не давались. Ямщик побежал за ними, и в одну минуту и лошади, и ямщик скрылись в белой мгле метели.

– Васили-ий! давай сюда буланого: так не пойма-ешь, – послышался еще его голос.

Один из ямщиков, весьма высокий мужчина, вылез из саней, молча отвязал свою тройку, взлез по шлее на одну из лошадей и, хрустя по снегу, спутанным галопцем скрылся по тому же направлению.

Мы же с двумя другими тройками, вслед за курьерской, которая, звеня

колокольчиком, полной рысью бежала впереди, без дороги пустились дальше.

– Как же! поймают! – сказал мой ямщик на того, который побежал ловить лошадей. – Уж коли к лошадям не пошла, значит – оголтелая лошадь, туда заведет, что и... не выйдет.

С тех пор, как ямщик мой ехал сзади, он сделался как будто веселее и разговорчивее, чем я, так как мне еще спать не хотелось, разумеется, не преминул воспользоваться. Я стал его расспрашивать, откуда и как и что он, и скоро узнал, что он земляк мне, тульский, господский, из села Кирпичного, что у них земель мало стало, и совсем хлеб рожать перестали земли с самой холеры, что их в семье два брата, третий в солдаты пошел, что хлеба до Рождества недостает, и живут заработками, что меньшей брат хозяин в дому, потому что женатый, а сам он вдовец; что из их села каждый год сюда артели ямщиков ходят, что он хоть не ездил ямщиком, а пошел на почту, чтоб поддержка брату была, что живет здесь, слава Богу, по 120 р. ассигн. в год, из которых сто в семью посылает, и что жить бы хорошо, «да кульеры оченно звери, да и народ здесь всё ругатель».

– Ну, чего ругался ямщик–то этот? Господи–батюшка! разве я нарочно ему лошадей оборвал? разве я кому злодей? И чего поскакал за ними! сами бы пришли; а то только лошадей заморит да и сам пропадет, – повторял богобоязненный мужичок.

– А это что чернеется? – спросил я, замечая несколько черных предметов впереди нас.

– А обоз. То–то любезная езда! – продолжал он, когда мы поровнялись с огромными, покрытыми рогожами возами, шедшими друг за другом на колесах. – Гляди, ни одного человека не видать – все спят. Сама умная лошадь знает: не собьешь ее с дороги никак. Мы тоже езжали с рядою, – прибавил он, – так знаем.

Действительно, странно было смотреть на эти огромные возы, засыпанные от рогожного верха до колес снегом, двигавшиеся совершенно одни. Только в переднем возу поднялась немного на два пальца покрытая снегом рогожа, и на минуту высунулась оттуда шапка, когда наши колокольчики прозвенели около обоза. Большая пегая лошадь, вытянув шею и напрягши спину, мерно ступала по совершенно занесенной дороге, однообразно качала под побелевшей дугой своей косматой головой и насторожила одно занесенное снегом ухо, когда мы поровнялись с ней.

Проехав еще с полчаса молча, ямщик снова обратился ко мне.

– А что, как вы думаете, барин, мы хорошо едем?

– Не знаю, – отвечал я.

– Прежде ветер во как был, а теперь мы вовсе под погодой едем. Нет, мы не туда едем, мы тоже плуаем, – заключил он совершенно спокойно.

Видно было, что, несмотря на то, что он был очень трусоват – на миру и смерть красна, – он совершенно стал спокоен с тех пор, как нас было много, и не он должен был быть руководителем и ответчиком. Он прехладнокровно делал наблюдения над ошибками передового ямщика, как будто ему до этого ни малейшего дела не было. Действительно, я замечал, что иногда передовая тройка становилась мне в профиль слева, иногда справа; мне даже казалось, что мы кружимся на очень малом пространстве. Впрочем, это мог быть обман чувств, как и то, что мне казалось иногда, что передовая тройка въезжает на гору или едет по косогору или под гору, тогда как степь была везде ровная.

Проехав еще несколько времени, я увидел, как мне показалось, далеко, на самом горизонте, черную длинную двигавшуюся полосу; но через минуту мне уже ясно стало, что это был тот же самый обоз, который мы обгоняли. Точно так же снег засыпал скрипучие колеса, из которых некоторые не вертелись даже; точно так же люди все спали под рогожами, и так же передовая пегая лошадь, раздувая ноздри, обнюхивала дорогу и настораживала уши.

– Вишь, кружили, кружили, опять к тому же обозу выехали! – сказал мой ямщик недовольным тоном. – Кульерские лошади добрые: то-то он так и гонит дуром; а наши так и вовсе станут, коли так всю ночь проедем.

Он прокашлялся.

– Вернемся-ка, барин, от греха.

– Зачем? куда-нибудь да приедем.

– Куда приехать? уж будем в степи ночевать. Как метет... Господи-батюшка!

Хотя меня удивляло то, что передовой ямщик, очевидно уже потеряв и дорогу, и направление, не отыскивал дороги, а, весело покрикивая, продолжал ехать полной рысью, я уже не хотел отставать от них.

– Пошел за ними, – сказал я.

Ямщик поехал, но еще неохотнее погонял, чем прежде, и уже больше не заговаривал со мной.

IV.

Метель становилась сильнее и сильнее, и сверху снег шел сухой и мелкий; казалось, начинало подмораживать: нос и щеки сильнее зябли, чаще пробегала под шубу струйка холодного воздуха, и надо было запахиваться. Изредка сани постукивали по голому, обледенелому черепку, с которого снег сметало. Так как я, не ночуя, ехал уже шестую сотню верст, несмотря на то, что меня очень интересовал исход нашего плутанья, я невольно закрывал глаза и задремывал. Раз, когда я открыл глаза, меня поразил, как мне показалось в первую минуту, яркий свет, освещавший белую равнину: горизонт значительно расширился, черное низкое небо вдруг исчезло, со всех сторон видны

были белые косые линии падающего снега; фигуры передовых троек виднелись яснее, и, когда я посмотрел вверх, мне показалось в первую минуту, что тучи разошлись, и что только падающий снег застилает небо. В то время как я вздремнул, взошла луна и бросала сквозь неплотные тучи и падающий снег свой холодный и яркий свет. Одно, что я видел ясно, это были мои сани, лошади, ямщик и три тройки, ехавшие впереди: первая – курьерская, в которой всё так же на облучке сидел один ямщик и гнал крупной рысью; вторая, в которой, бросив вожжи и сделав себе из армяка затишку, сидели двое и, не переставая, курили трубочку, что видно было по искрам, блестящим оттуда, и третья, в которой никого не видно было, и предположительно ямщик спал в середине. Передовой ямщик однако, когда я проснулся, изредка стал останавливать лошадей и искать дороги. Тогда, только что мы останавливались, слышнее становилось завывание ветра и виднее поразительно-огромное количество снега, носящегося в воздухе. Мне видно было, как при лунном, застилаемом метелью свете невысокая фигура ямщика с кнутовищем в руке, которым он ощупывал снег впереди себя, двигалась взад и вперед в светлой мгле, снова подходила к саням, вскакивала бочком на передок, и слышались снова среди однообразного свистения ветра ловкое, звучное покрякивание и звучание колокольчиков. Когда передовой ямщик вылезал, чтобы искать признаков дороги или стогов, из вторых саней всякий раз слышался бойкий, самоуверенный голос одного из ямщиков, который кричал передовому:

– Слышь, Игнашка! влево совсем забрали: правее забирай, под погоду-то. – Или: Что кружишь дуром? по снегу ступай, как снег лежит – как раз выедешь. – Или: Вправо-то, вправо-то пройди, братец ты мой! вишь, чернеет что-то, столб никак. – Или: Что путаешь-то? что путаешь? Отпряжь-ка пегого да пусти передом, так он как раз тебя выведет на дорогу. Дело-то лучше будет!

Сам же тот, который советовал, не только не отпрягал пристяжной или не ходил по снегу искать дороги, но носу не высовывал из-за своего армяка, и когда Игнашка-передовой на один из советов его крикнул, чтобы он сам ехал передом, когда знает, куда ехать, то советчик отвечал, что когда бы он на кульерских ездил, то и поехал бы и вывел бы как раз на дорогу. – А наши лошади в заметь передом не пойдут! – крикнул он: – не такие лошади!

– Так не мути! – отвечал Игнашка, весело посвистывая на лошадей.

Другой ямщик, сидевший в одних санях с советчиком, ничего не говорил Игнашке и вообще не вмешивался в это дело, хотя не спал еще, о чем я заключал по неугасаемой его трубочке и по тому, что, когда мы останавливались, я слышал его мерный, непрерываемый говор. Он рассказывал сказку. Раз только, когда Игнашка в шестой или седьмой раз остановился, ему, видимо, досадно стало, что прерывается его удовольствие езды, и он закричал ему:

– Ну что стал опять? Вишь, найти дорогу хочет! Сказано, метель! Теперь землемер самый, и тот дороги не найдет. Ехал бы, поколе лошади везут. Авось до смерти не замерзнем... пошел знай!

– Как же! небось, поштальон в прошлом году до смерти замерз! – отозвался мой ямщик.

Ямщик третьей тройки не просыпался всё время. Только раз, во время остановки, советчик крикнул:

– Филипп! а, Филипп! – и, не получив ответа, заметил: – Уж не замерзли? Ты бы, Игнашка, посмотрел.

Игнашка, который поспевал на всё, подошел к саням и начал толкать спящего.

– Вишь, с косушки как его розобрало! Замерз, так скажи! – говорил он, раскачивая его.

Спящий промычал что-то и ругнулся.

– Жив, братцы! – сказал Игнашка и снова побежал вперед, и мы снова ехали, и даже так скоро, что маленькая гнеденькая пристяжная в моей тройке, беспрестанно постегиваемая в хвост, не раз попрыгивала неловким галопцем.

V.

Уже, я думаю, около полуночи к нам подъехали старичок и Василий, догонявшие оторвавшихся лошадей. Они поймали лошадей и нашли и догнали нас; но каким образом сделали они это в темную, слепую метель, среди голой степи, мне навсегда останется непонятным. Старичок, размахивая локтями и ногами, рысью ехал на коренной (другие две лошади были привязаны к хомуту: в метель нельзя бросать лошадей). Поровнявшись со мной, он снова принялся ругать моего ямщика:

– Вишь, чорт косоглазый! право...

– Э, дядя Митрич, – крикнул сказочник из вторых саней: – жив? полезай к нам.

Но старик не отвечал ему, а продолжал браниться. Когда ему показалось достаточным, он подъехал ко вторым саням.

– Всех поймал? – сказали ему оттуда.

– А то нет!

И небольшая фигура его на рыси грудью взвалилась на спину лошади, потом соскочила на снег, не останавливаясь, пробежала за санями и ввалилась в них, с выпущенными кверху через грядку ногами. Высокий Василий, так же, как и прежде, молча сел в передние сани с Игнашкой и с ним вместе стал искать дорогу.

– Вишь, ругатель... Господи-батюшка! – пробормотал мой ямщик.

Долго после этого мы ехали, не останавливаясь, по белой пустыне, в

холодном, прозрачном и колеблющемся свете метели. Откроешь глаза – та же неуклюжая шапка и спина, занесенные снегом, торчат передо мной, та же невысокая дуга, под которой между натянутыми ременными поводками узды поматывается, всё в одном расстоянии, голова коренной с черной гривой, мерно подбиваемой в одну сторону ветром; виднеется из-за спины та же гнedenькая пристяжная направо, с коротко подвязанным хвостом и вальком, изредка постукивающим о лубок саней. Посмотришь вниз – тот же сыпучий снег разрывают полозья, и ветер упорно поднимает и уносит всё в одну сторону. Впереди, на одном же расстоянии, убегают передовые тройки; справа, слева всё белеет и мерещится. Напрасно глаз ищет нового предмета: ни столба, ни стога, ни забора – ничего не видно. Везде всё бело, бело и подвижно: то горизонт кажется необъятно-далеким, то сжатым на два шага во все стороны, то вдруг белая, высокая стена вырастает справа и бежит вдоль саней, то вдруг исчезает и вырастает спереди, чтобы убежать дальше и дальше и опять исчезнуть. Посмотришь ли наверх – покажется светло в первую минуту, кажется, сквозь туман видишь звездочки; но звездочки убегают от взора выше и выше, и только видишь снег, который мимо глаз падает на лицо и воротник шубы; небо везде одинаково светло, одинаково бело, бесцветно, однообразно и постоянно подвижно. Ветер как будто изменяется: то дует навстречу и лепит глаза снегом, то сбоку досадно закидывает воротник шубы на голову и насмешливо треплет меня им по лицу, то сзади гудит в какую-нибудь скважину. Слышно слабое, неумолкаемое хрустение копыт и полозьев по снегу и замирающее, когда мы едем по глубокому снегу, звяканье колокольчиков. Только изредка, когда мы едем против ветра и по голому намерзшему черепку, ясно долетают до слуха энергическое посвистывание Игната и залиvistый звон его колокольчика с отзывающейся дребезжащей квинтой, и звуки эти вдруг отраднo нарушают унылый характер пустыни и потом снова звучат однообразно, с несносной верностью наигрывая все тот же самый мотив, который невольно я воображаю себе. Одна нога начала у меня зябнуть, и, когда я поворачивался, чтобы лучше закрыться, снег, насыпавшийся на воротник и шапку, проскакивал за шею и заставлял меня вздрагивать; но мне было вообще еще тепло в обогретой шубе, и дремота клонила меня.

## VI.

Воспоминания и представления с усиленной быстротой сменялись в воображении.

«Советчик, что всё кричит из вторых саней, какой это мужик должен быть? Верно, рыжий, плотный, с короткими ногами, – думаю я, – в роде Федора Филиппыча, нашего старого буфетчика». И вот я вижу лестницу нашего большого дома и пять человек дворовых, которые на полотенцах, тяжело ступая, тащат фортепьяно из флигеля; вижу Федора Филиппыча с завороченными рукавами нанкового сюртука, который несет одну педаль, забегает вперед, отворяет задвижки, подергивает там за ручник, поталкивает тут, пролезает между ног, всем мешает и озабоченным голосом кричит, не переставая:

– На себя возьми, передовые-то, передовые! Вот так, хвостом-то в гору, в гору, в гору, заноси в дверь! Вот так.

– Уж вы позвольте, Федор Филиппыч! мы одни, – робко замечает садовник, прижатый к перилам, весь красный от напряжения, из последних сил поддерживая один угол рояля.

Но Федор Филиппыч не унимается.

«И что́ это? – рассуждал я, – думает он, что он полезен, необходим для общего дела, или просто рад, что Бог дал ему это самоуверенное, убедительное красноречие, и с наслаждением расточает его? Должно быть, так». И я вижу почему-то пруд, усталых дворовых, которые по колению в воде тянут невод, и опять Федор Филиппыч с лейкой, крича на всех, бегающий по берегу и только изредка подходит к воде, чтобы, придерживая рукой золотистых карасей, спустить мутную воду и набрать свежей. Но вот полдень в июле месяце. Я по только что скошенной траве сада, под жгучими прямыми лучами солнца, иду куда-то. Я еще очень молод, мне чего-то недостает и чего-то хочется. Я иду к пруду, на свое любимое место, между шиповниковой клумбой и березовой аллеей, и ложусь спать. Помню чувство, с которым я, лежа, гляжу сквозь красные колючие стволы шиповника на черную, засохшую крупинками землю и на просвечивающее ярко-голубое зеркало пруда. Это было чувство какого-то наивного самодовольствия и грусти. Всё вокруг меня было так прекрасно, и так сильно действовала на меня эта красота, что мне казалось, я сам хорош, и одно, что́ мне досадно было, это то, что никто не удивляется мне. Жарко. Я пытаюсь заснуть, чтоб утешиться; но мухи, несносные мухи, не дают мне и здесь покоя, начинают собираться около меня и упорно, туго как-то, как косточки, перепрыгивают со лба на руки. Пчела жужжит недалеко от меня на самом припеке; желтокрылые бабочки, как раскислые, перелетают с травки на травку. Я гляжу вверх: глазам больно – солнце слишком блестит через светлую листву кудрявой березы, высоко, но тихонько раскачивающейся надо мной своими ветвями, – и кажется еще жарче. Я закрываю лицо платком; становится душно, и мухи как будто липнут к рукам, на которых выступает испарина. В шиповнике завозились воробьи в самой чаще. Один из них спрыгнул на землю в аршине от меня, притворился раза два, что энергически клюнул землю, и, хрустя ветками и весело чиликнув, вылетел из клумбы; другой тоже соскочил на землю, подернул хвостик, оглянулся и также, как стрела, чиликая, вылетел за первым. На пруде слышны удары валька по мокрому белью, и удары эти раздаются и разносятся как-то низом, вдоль по пруду. Слышны смех и говор и плесканье купающихся. Порыв ветра зашумел верхушками берез еще далеко от меня; вот ближе, слышу, он зашевелил траву, вот и листья шиповниковой клумбы заколебались, забились на своих ветках; а вот, поднимая угол платка и щекотая потное лицо, до меня добежала свежая струя. В отверстие поднятого платка влетела муха и испуганно забила около влажного рта. Какая-то сухая ветка жмет мне под спиной. Нет, не улежать: пойти выкупаться. Но вот около самой клумбы слышу торопливые шаги и испуганный женский говор:

– Ах, батюшки! Да что́ ж это! и мужчин никого нету!

– Что́ это, что́? – спрашиваю я, выбегая на солнце, у дворовой женщины, которая, охая, бежит мимо меня. Она только оглядывается, взмахивает руками и бежит дальше. Но вот и стопятилетняя старуха

Матрена, придерживая рукою платок, сбивающийся с головы, подпрыгивая и волоча одну ногу в шерстяном чулке, бежит к пруду. Две девочки бегут, держась друг за друга, и десятилетний мальчишка, в отцовском сюртуке, держась за посконную юбку одной из них, поспешает сзади.

– Чтò случилось? – спрашиваю я у них.

– Мужик утонул.

– Где?

– В пруде.

– Какой? наш?

– Нет, прохожий.

Кучер Иван, ёрзая большими сапогами по скошенной траве, и толстый приказчик Яков, с трудом переводя дух, бегут к пруду, и я бегу за ними.

Помню чувство, которое мне говорило: «Вот бросься и вытащи мужика, спаси его, и все будут удивляться тебе», чего мне именно и хочется.

– Где же, где? – спрашиваю я у толпы дворовых, собравшейся на берегу.

– Вон там, в самой пучине, к тому берегу, у бани почти, – говорит прачка, убирая мокрое белье на коромысло. – Я гляжу, что он ныряет; а он покажется так-то, да и уйдет опять, покажется еще, да как крикнет: «тону, батюшки!» и опять ушел на низ, – только пузырьки пошли. Тут я увидела, мужик тонет. Как взвою: «батюшки, мужик тонет!»

И прачка, взвалив на плечо коромысло, виляя боком, пошла по тропинке прочь от пруда.

– Вишь, грех какой! – говорит Яков Иванов, приказчик, отчаянным голосом: – чтò теперь хлопот с земским судом будет – не оберешься.

Какой-то один мужик с косою пробрался сквозь толпу баб, детей и стариков, столпившихся у того берега, и, повесив косу на сук ракиты, медленно разувается.

– Где же, где он утонул? – всё спрашиваю я, желая броситься туда и сделать что-нибудь необыкновенное.

Но мне указывают на гладкую поверхность пруда, которую изредка рябит пронсящийся ветер. Мне непонятно, как же он утонул, а вода всё так же гладко, красиво, равнодушно стоит над ним, блестя золотом на полуденном солнце, и мне кажется, что я ничего не могу сделать, никого не удивлю, тем более, что весьма плохо плаваю; а мужик уже через голову стаскивает с себя рубашку и сейчас бросится. Все смотрят на него с надеждой и замиранием; но, войдя в воду по плечи,

мужик медленно возвращается и надевает рубашку: он не умеет плавать.

Народ всё сбегается, толпа становится больше и больше, бабы держатся друг за друга; но никто не подает помощи. Те, которые только что приходят, подают советы, ахают и на лицах выражают испуг и отчаянье; из тех же, которые собрались прежде, некоторые садятся, устав стоять, на траву, некоторые возвращаются. Старуха Матрена спрашивает у дочери, затворила ли она заслонку печи; мальчишка в отцовском сюртуке старательно бросает камешки в воду.

Но вот от дому, с лаем и в недоумении оглядываясь назад, бежит под гору Трезорка, собака Федора Филиппыча; но вот и самая фигура его, бегущего с горы и кричащего что-то, показывается из-за шиповниковой клумбы.

— Чтò стоите? — кричит он, на бегу снимая сюртук. — Человек потонул, а они стоят! Давай веревку!

Все с надеждой и страхом смотрят на Федора Филиппыча, пока он, придерживаясь рукой за плечо услужливого дворового, снимает носком левой ноги каблук правой.

— Вон там, где народ стоит, так вот поправее ракиты, Федор Филиппыч, вон там-то, — говорит ему кто-то.

— Знаю! — отвечает он и, нахмутив брови, должно быть, в ответ на признаки стыдливости, выражающейся в толпе женщин, снимает рубашку, крестик, передавая его мальчишке-садовнику, который подобострастно стоит перед ним, и, энергически ступая по скошенной траве, подходит к пруду.

Трезорка, в недоумении насчет причин этой быстроты движений своего господина, остановившись около толпы и чмокая, съев несколько травинок около берега, вопросительно смотрит на него и, вдруг весело взвизгнув, вместе с своим хозяином бросается в воду. Первую минуту ничего не видно, кроме пены и брызгов, которые летят даже до нас; но вот Федор Филиппыч, грациозно размахивая руками и равномерно подымая и опуская белую спину, саженьями, бойко плывет к тому берегу. Трезорка же, захлебнувшись, торопливо возвращается назад, отряхивается около толпы и на спине вытирается по берегу. В одно и то же время, как Федор Филиппыч подплывает к тому берегу, два кучера прибегают к раките с свернутым на палке неводом. Федор Филиппыч для чего-то поднимает вверх руки, ныряет раз, другой, третий, всякий раз пуская изо рта струйку воды и красиво встряхивая волосами и не отвечая на вопросы, которые со всех сторон сыплются на него. Наконец он выходит на берег и, сколько мне видно, распоряжается только расправлением невода. Невод вытаскивают, но в корме ничего нет, кроме тины и нескольких мелких карасиков, бьющихся между нею. В то время как невод еще раз затаскивают, я перехожу на ту сторону.

Слышно только голос Федора Филиппыча, отдающего приказания, поплескивание по воде мокрой веревки и вздохи ужаса. Мокрая веревка, привязанная к правому крылу, больше и больше покрытая травой, дальше и дальше выходит из воды.

– Теперь вместе тяни, дружной, разом! – кричит голос Федора Филиппыча. Показываются камола, облитые водой.

– Есть что-то, тяжело идет, братцы, – говорит чей-то голос.

Но вот и крылья, в которых бьются два-три карасика, моча и прижимая траву, вытягиваются на берег. И вот сквозь тонкий, колеблющийся слой возмущившейся воды в натянутой сети показывается что-то белое. Негромкий, но поразительно слышный среди мертвой тишины вздох ужаса проносится в толпе.

– Тащи, дружной, на сухое тащи! – слышится решительный голос Федора Филиппыча, и утопленника по скошенным стеблям лопуха и репейника волоком подтаскивают к раките.

И вот я вижу мою добрую старую тетушку в шелковом платье, вижу ее лиловый зонтик с бахромой, который почему-то так несообразен с этой ужасной по своей простоте картиной смерти, лицо, готовое сию минуту расплакаться. Помню выразившееся на этом лице разочарование, что нельзя тут ни к чему употребить арнику, и помню болезненное, скорбное чувство, которое я испытал, когда она мне с наивным эгоизмом любви сказала: «Пойдем, мой друг. Ах, как это ужасно! А вот ты всё один купаешься и плаваешь».

Помню, как ярко и жарко пекло солнце сухую, рассыпчатую под ногами землю, как играло оно на зеркале пруда, как бились у берегов крупные карпии, в середине зыбили гладь пруда стайки рыбок, как высоко в небе вился ястреб, стоя над утятами, которые, бурля и плескаясь, через тростник выплывали на середину; как грозовые белые кудрявые тучи сбирались на горизонте, как грязь, вытащенная неводом у берега, понемногу расходилась, и как, проходя по плотине, я снова услышал удары валька, разносящиеся по пруду.

Но валец этот звучит, как будто два валька звучат вместе в терцию, и звук этот мучит, томит меня, тем более, что я знаю – этот валец есть колокол, и Федор Филиппыч не заставит замолчать его. И валец этот, как инструмент пытки, сжимает мою ногу, которая зябнет, – я засыпаю.

Меня разбудило, как мне показалось, то, что мы очень быстро скачем, и два голоса говорят подле самого меня.

– Слышь, Игнат, а Игнат! – говорит голос моего ямщика: – возьми седока – тебе всё одно ехать, а мне что даром гонять! – возьми!

Голос Игната подле самого меня отвечает: – А что мне радости-то за седока отвечать?.. Поставишь полштофа?

– Ну, полштофа!.. косушку уж так и быть.

– Вишь, косушку! – кричит другой голос: – лошадей помучить за косушку!

Я открываю глаза. Всё тот же несносный колеблющийся снег мерещится в

глазах, те же ящики и лошади, но подле себя я вижу какие-то сани. Мой ящик догнал Игната, и мы довольно долго едем рядом. Несмотря на то, что голос из других саней советует не брать меньше полуштофа, Игнат вдруг останавливает тройку.

– Перекладывай, уж так и быть, твое счастье. Косушку поставь, как завтра приедем. Клади много, что ли?

Мой ящик с несвойственной ему живостью выскакивает на снег, кланяется мне и просит, чтобы я пересел к Игнату. Я совершенно согласен; но видно, что богобоязненный мужичок так доволен, что ему хочется излить на кого-нибудь свою благодарность и радость: он кланяется, благодарит меня, Алешку, Игнашку.

– Ну вот и слава Богу! а то что это, Господи-батюшка! половину ночи ездим, сами не знаем куда. Он-то вас довезет, батюшка-барин, а мои уж лошади вовсе стали.

И он выкладывает вещи с усиленной деятельностью.

Пока перекладывались, я по ветру, который так и подносил меня, подошел ко вторым саням. Сани, особенно с той стороны, с которой от ветра завешен был на головах двух ящиков армяк, были на четверть занесены снегом; за армяком же было тихо и уютно. Старичок лежал так же с выпущенными ногами, а сказочник продолжал свою сказку: «В то самое время, как генерал от королевского, значит, имени приходит, значит, к Марии в темницу, в то самое время Мария говорит ему: «Генерал! я в тебе не нуждаюсь и не могу тебя любить, и, значит, ты мне не любовник; а любовник мой есть тот самый принц...»

– В то самое время... – продолжал было он, но, увидав меня, замолк на минуту и стал раздувать трубочку.

– Что, барин, сказочку пришли послушать? – сказал другой, которого я называл советчиком.

– Да у вас славно, весело! – сказал я.

– Что ж! от скуки, – по крайности не думается.

– А что, не знаете вы, где мы теперь?

Вопрос этот, как мне показалось, не понравился ящикукам.

– А кто е разберет, где? може и к калмыкам заехали вовсе, – отвечал советчик.

– Что же мы будем делать? – спросил я.

– А что делать? Вот едем, можь и выедем, – сказал он недовольным тоном.

– Ну, а как не выедем, да лошади станут в снегу, что тогда?

– А что! Ничего.

– Да замерзнуть можно.

– Известно, можно, потому и стогов теперича не видать: значит, мы вовсе к калмыкам заехали. Первое дело надо по снегу смотреть.

– А ты никак боишься замерзнуть, барин? – сказал старичок дрожащим голосом.

Несмотря на то, что он как будто подтрунивал надо мной, видно было, что он продрог до последней косточки.

– Да, холодно очень становится, – сказал я.

– Эх ты, барин! А ты бы как я: нет, нет да и пробегись, – оно тебя и согреет.

– Первое дело, как пробежишь за санями, – сказал советчик.

VII.

– Пожалуйте: готово! – кричал мне Алешка из передних саней.

Метель была так сильна, что насилу–насилу, перегнувшись совсем вперед и ухватясь обеими руками за полы шинели, я мог по колеблющемуся снегу, который выносило ветром из–под ног, пройти те несколько шагов, которые отделяли меня от моих саней. Прежний ящик мой уже стоял на коленках в середине пустых саней, но, увидав меня, снял свою большую шапку, причем ветер неистово подхватил его волосы кверху, и попросил на водку. Он, верно, и не ожидал, чтобы я дал ему, потому что отказ мой несколько не огорчил его. Он поблагодарил меня и на этом, надвинул шапку и сказал мне: «Ну, дай Бог вам, барин...» и, задергав вожжами и зачмокав, тронулся от нас. Вслед затем и Игнашка размахнулся всей спиной и крикнул на лошадей. Опять звуки хрустенья копыт, покрикивань и колокольчика заменили звук завывания ветра, который был особенно слышен, когда стояли на месте.

С четверть часа после перекладки я не спал и развлекался рассматриванием фигуры нового ящика и лошадей. Игнашка сидел молодцом, беспрестанно подпрыгивал, замахивался рукою с висящим кнутом на лошадей, покрикивал, постукивал ногой об ногу и, перегибаясь вперед, поправлял шлею коренной, которая всё сбивалась на правую сторону. Он был не велик ростом, но хорошо сложен, как казалось. Сверх полушубка на нем был надет неподпоясанный армяк, которого воротник был почти откинут, и шея совсем голая, сапоги были не валеные, а кожаные, и шапка маленькая, которую он снимал и поправлял беспрестанно. Уши закрыты были только волосами. Во всех его движениях заметна была не только энергия, но еще более, как мне казалось, желание возбудить в себе энергию. Однако, чем дальше мы ехали, тем чаще и чаще он, оправляясь, подпрыгивал на облучке, похлопывал ногой об ногу и заговаривал со мной и Алешкой: мне казалось, он боялся упасть духом. И было от чего: хотя лошади были добрые, дорога с каждым шагом становилась тяжелее и тяжелее, и

заметно было, как лошади бежали неохотнее: уже надобно было постегивать, и коренная, добрая, большая косматая лошадь, спотыкнулась раза два, хотя тотчас же, испугавшись, дернула вперед и подкинула косматую голову чуть не под самый колокольчик. Правая пристяжная, которую я невольно наблюдал, вместе с длинной ременной кисточкой шлеи, бившейся и подпрыгивающей с полевой стороны, заметно спускала построжки, требовала кнутика, но, по привычке доброй, даже горячей лошади, как будто досадовала на свою слабость, сердито опускала и подымала голову, попрашивая повода. Действительно, страшно было видеть, что метель и мороз всё усиливаются, лошади слабеют, дорога становится хуже, и мы решительно не знаем, где мы и куда ехать, не только на станцию, но к какому-нибудь приюту, – и смешно и странно слышать, что колокольчик звенит так непринужденно и весело, и Игнатка покрикивает так бойко и красиво, как будто в крещенский морозный солнечный полдень мы катаемся в праздник по деревенской улице, – и главное, странно было думать, что мы всё едем и, шибко едем куда-то прочь от того места, на котором находились. Игнатка запел какую-то песню, хотя весьма гаденькой фистулой, но так громко и с такими остановками, во время которых он посвистывал, что странно было робеть, слушая его.

– Ге-гей! что горло-то дерешь, Игнат! – послышался голос советчика:  
– постой на час!

– Чаво?

– Посто-о-о-ой!

Игнат остановился. Опять всё замолкло, и загудел и запищал ветер, и снег стал, крутясь, гуще валить в сани. Советчик подошел к нам.

– Ну чтò?

– Да чтò! куда ехать-то?

– А кто е знает!

– Чтò, ноги замерзли, что ль, что хлопаешь-то?

– Вовсе зашлись.

– А ты бы вот сходил: во-он маячит – никак калмыцкое кочевье. Оно бы и ноги-то посогрел.

– Ладно. Подержи лошадей... на.

И Игнат побежал по указанному направлению.

– Всё надо смотреть да походить: оно и найдешь; а то так, что дуром-то ехать! – говорил мне советчик: – вишь, как лошадей упарил!

Всё время, пока Игнат ходил, – а это продолжалось так долго, что я даже боялся, как бы он не заблудился, – советчик говорил мне самоуверенным, спокойным тоном, как надо поступать во время метели,

как лучше всего отпречь лошадь и пустить, что она, как Бог свят, выведет, или как иногда можно и по звездам смотреть, и как, ежели бы он передом ехал, уж мы бы давно были на станции.

– Ну чтò, есть? – спросил он у Игната, который возвращался, с трудом шагая, почти по колени в снегу.

– Есть–то есть, кочевье видать, – отвечал, задыхаясь, Игнат: – да незнамо какое. Это мы, брат, должно, вовсе на Пролговскую дачу заехали. Надо левой брать.

– И чтò мелет! это вовсе наши кочевья, которые позадь станицы, – возразил советчик.

– Да говорю, что нет!

– Уж я глянул, так знаю: оно и будет; а не оно, так Тамышевско. Всё надо правой забирать: как раз и выедем на большой мост – осьмью версту.

– Да говорят, что нет! Ведь я видал! – с досадой отвечал Игнат.

– Э, брат! а еще ящик!

– То–то ящик! ты сходи сам.

– Чтò мне ходить! я так знаю.

Игнат рассердился, видно: он, не отвечая, вскочил на облучок и погнал дальше.

– Вишь, как зашлись ноги: ажно не согреешь, – сказал он Алешке, продолжая похлопывать чаще и чаще и огребать и высыпать снег, который ему забился за голенищи.

Мне ужасно хотелось спать.

## VIII.

«Неужели это я уже замерзаю, – думал я сквозь сон, – замерзание всегда начинается сном, говорят. Уж лучше утонуть, чем замерзнуть, пускай меня вытащат в неводе; а впрочем, всё равно – утонуть ли, замерзнуть, только бы под спину не толкала эта палка какая–то и забыться бы».

Я забываюсь на секунду.

«Чем же, однако, всё это кончится? – вдруг мысленно говорю я, на минуту открывая глаза и вглядываясь в белое пространство: – чем же это кончится? Ежели мы не найдем стогов и лошади станут, чтò, кажется, скоро случится – мы все замерзнем». Признаюсь, хотя я и боялся немного, желание, чтобы с нами случилось что–нибудь необыкновенное, несколько трагическое, было во мне сильнее маленькой боязни. Мне казалось, что было бы недурно, если бы к утру в какую–

нибудь далекую, неизвестную деревню лошади бы уж сами привезли нас полузамерзлых, чтобы некоторые даже замерзли совершенно. И в этом смысле мечты с необыкновенной ясностью и быстротой носились передо мною. Лошади становятся, снегу наносится больше и больше, и вот от лошадей видны только дуга и уши; но вдруг Игнашка является наверху с своей тройкой и едет мимо нас. Мы умоляем его, кричим, чтобы он взял нас; но ветром относит голос, голосу нет. Игнашка посмеивается, кричит по лошадям, посвистывает и скрывается от нас в каком-то глубоком, занесенном снегом овраге. Старичок вскакивает верхом, размахивает локтями и хочет ускакать, но не может сдвинуться с места; мой старый ящик, с большой шапкой, бросается на него, стаскивает на землю и топчет в снегу. «Ты колдун! – кричит он: – ты ругатель! Будем плутать вместе». Но старичок пробивает головой сугроб: он не столько старичок, сколько заяц, и скачет прочь от нас. Все собаки скачут за ним. Советчик, который есть Федор Филиппыч, говорит, чтобы все сели кружком, что ничего, ежели нас занесет снегом: нам будет тепло. Действительно, нам тепло и уютно; только хочется пить.

Я достаю погребец, потчую всех ромом с сахаром и сам пью с большим удовольствием. Сказочник говорит какую-то сказку про радугу, – и над нами уже потолок из снега и радуга. «Теперь сделайте себе каждый комнатку в снегу и давайте спать!» говорю я. Снег мягкий и теплый, как мех. Я делаю себе комнатку и хочу войти в нее; но Федор Филиппыч, который видел в погребеце мои деньги, говорит: «Стоять! давай деньги. Всё одно умирать!» и хватается за ногу. Я отдаю деньги и прошу только, чтобы меня отпустили; но они не верят, что это все мои деньги, и хотят меня убить. Я схватываю руку старичка и с невыразимым наслаждением начинаю целовать ее: рука старичка нежная и сладкая. Он сначала вырывает ее, но потом отдает мне и даже другой рукой ласкает меня. Однако Федор Филиппыч приближается и грозит мне. Я бегу в свою комнату; но это не комната, а длинный белый коридор, и кто-то держит меня за ноги. Я вырываюсь. В руках того, кто меня держит, остаются моя одежда и часть кожи; но мне только холодно и стыдно, – стыдно тем более, что тетушка с зонтиком и гомеопатической аптечкой, под руку с утопленником, идут мне навстречу. Они смеются и не понимают знаков, которые я им делаю. Я бросаюсь на сани, ноги волокутся по снегу; но старичок гонится за мной, размахивая локтями. Старичок уже близко, но я слышу, впереди звонят два колокола, и знаю, что я спасен, когда прибегу к ним. Колокола звучат слышней и слышней; но старичок догнал меня и животом упал на мое лицо, так что колокола едва слышны. Я снова схватываю его руку и начинаю целовать ее, но старичок не старичок, а утопленник... и кричит: «Игнашка! стой, вон Ахметкины стоги, кажись! Подь-ка посмотри!» Это уж слишком страшно. Нет! проснись лучше...

Я открываю глаза. Ветер закинул мне на лицо полу Алешкиной шинели, колено у меня раскрыто, мы едем по голому насту, и терция колокольчиков слышнехонько звучит в воздухе с своей дребезжащей квинтой.

Я смотрю, где стоги; но вместо стогов, уже с открытыми глазами, вижу какой-то дом с балконом и зубчатую стену крепости. Меня мало интересует рассмотреть хорошенько этот дом и крепость: мне, главное,

хочется опять видеть белый коридор, по которому я бежал, слышать звон церковного колокола и целовать руку старичка. Я снова закрываю глаза и засыпаю.

IX.

Я спал крепко; но терция колокольчиков всё время была слышна и виделась мне во сне, то в виде собаки, которая лает и бросается на меня, то органа, в котором я составляю одну дудку, то в виде французских стихов, которые я сочиняю. То мне казалось, что эта терция есть какой-то инструмент пытки, которым не переставая сжимают мою правую пятку. Это было так сильно, что я проснулся и открыл глаза, потирая ногу. Она начинала замораживаться. Ночь была та же светлая, мутная, белая. То же движение поталкивало меня и сани; тот же Игнашка сидел боком и похлопывая ногами; та же пристяжная, вытянув шею и невысоко поднимая ноги, рысью бежала по глубокому снегу, кисточка подпрыгивала на шлее и хлесталась о брюхо лошади. Голова коренной с развевающейся гривой, натягивая и отпуская поводья, привязанные к дуге, мерно покачивалась. Но всё это, больше чем прежде, покрыто, занесено было снегом. Снег крутился спереди, сбоку, засыпал полозья, ноги лошадей по колени и сверху валил на воротники и шапки. Ветер был то справа, то слева, играл воротником, полой Игнашкина армяка, гривой пристяжной и завывал над дугой и в оглоблях.

Становилось ужасно холодно, и едва я высовывался из воротника, как морозный сухой снег, крутясь, набивался в ресницы, нос, рот и заскакивал за шею; посмотришь кругом – всё бело, светло и снежно, нигде ничего, кроме мутного света и снега. Мне стало серьезно страшно. Алешка спал в ногах и в самой глубине саней; вся спина его была покрыта густым слоем снега. Игнашка не унывал: он беспрестанно подергивал вожжами, покрикивал и хлопал ногами. Колокольчик звенел так же чудно. Лошади похрапывали, но бежали, спотыкаясь чаще и чаще и несколько тише. Игнашка опять подпрыгнул, взмахнул рукавицей и запел песню своим тоненьким напряженным голосом. Не допев песни, он остановил тройку, перекинул вожжи на передок и слез. Ветер завыл неистово; снег, как из совка, так и сыпал на полы шубы. Я оглянулся: третьей тройки уж за нами не было (она где-то отстала). Около вторых саней, в снежном тумане, видно было, как старичок попрыгивал с ноги на ногу. Игнашка шага три отошел от саней, сел на снег, распоясался и стал снимать сапоги.

– Чтò это ты делаешь? – спросил я.

– Перебуться надо; а то вовсе ноги заморозил, – отвечал он и продолжал свое дело.

Мне холодно было высунуть шею из-за воротника, чтобы посмотреть, как он это делал. Я сидел прямо, глядя на пристяжную, которая, отставив ногу, болезненно, устало помахивала подвязанным и занесенным снегом хвостом. Толчок, который дал Игнат санями, вскочив на облучок, разбудил меня.

– Чтò, где мы теперь? – спросил я: – доедем ли хоть к свету?

– Будьте покойны: доставим, – отвечал он. – Теперь важно ноги согрелись, как перебулся.

И он тронул, колокол зазвенел, сани снова стали раскачиваться и ветер свистеть под полозьями. И мы снова пустились плыть по беспредельному морю снега.

Х.

Я заснул крепко. Когда же Алешка, толкнув меня ногой, разбудил, и я открыл глаза, было уже утро. Казалось еще холодней, чем ночью. Сверху снега не было; но сильный, сухой ветер продолжал заносить снежную пыль на поле и особенно под копытами лошадей и полозьями. Небо справа на востоке было тяжелое темно-синеватого цвета; но яркие, красно-оранжевые косые полосы яснее и яснее обозначались на нем. Над головами, из-за бегущих белых, едва окрашивающихся туч, виднелась бледная синева; налево облака были светлы, легки и подвижны. Везде кругом, что мог окинуть глаз, лежал на поле белый, острыми слоями рассыпанный, глубокий снег. Кое-где виднелся сереющий бугорок, через который упорно летела мелкая, сухая снежная пыль. Ни одного, ни санного, ни человеческого, ни звериного следа не было видно. Очертания и цвета спины ямщика и лошадей виднелись ясно и резко даже на белом фоне... Околыш Игнашкиной темно-синей шапки, его воротник, волосы и даже сапоги были белы. Сани были занесены совершенно. У сивой коренной вся правая часть головы и холки были набиты снегом; у моей пристяжной ноги обсыпаны были до колен, и весь сделавшийся кудрявым потный круп облеплен с правой стороны. Кисточка подпрыгивала так же в такт какого бы ни захотел вообразить мотива, и сама пристяжная бежала так же, только по впадому, часто поднимающемуся и опускающемуся животу и отвисшим ушам видно было, как она измучена. Один только новый предмет останавливал внимание: это был верстовой столб, с которого сыпало снег на землю и около которого ветер намел целую гору справа и всё еще рвался и перебрасывал сыпкий снег с одной стороны на другую. Меня ужасно удивило, что мы ехали целую ночь на одних лошадях двенадцать часов, не зная куда и не останавливаясь, и всё-таки как-то приехали. Наш колокольчик звенел как будто еще веселее. Игнат запахивался и покрикивал; сзади фыркали лошади, и звенели колокольчики троек старичка и советчика; но тот, который спал, решительно в степи отбился от нас. Проехав полверсты, попался свежий, едва занесенный следок саней и тройки, и изредка розоватые пятна крови лошади, которая засекалась верно, виднелись на нем.

– Это Филипп! Вишь, раньше нас угодил ! – сказал Игнашка.

Но вот домишко с вывеской виднеется один около дороги посреди снега, который чуть не до крыш и окон занес его. Около кабака стоит тройка серых лошадей, курчавых от пота, с отставленными ногами и понурыми головами. Около двери расчищено, и стоит лопата; но с крыши всё метет еще и крутит снег гудящий ветер.

Из двери, на звон наших колоколов, выходит большой, красный, рыжий ямщик, со стаканом вина в руках, и кричит что-то. Игнашка

обертывается ко мне и просит позволения остановиться. Тут я в первый раз вижу его рожу.

XI.

Лицо у него было не черноватое, сухое и прямоносое, как я ожидал, судя по его волосам и сложению. Это была круглая, веселая, совершенно курносая рожа, с большим ртом и светло, ярко голубыми круглыми глазами. Щеки и шея его были красны, как натертые суконкой; брови, длинные ресницы и пушок, ровно покрывающий низ его лица, были залеплены снегом и совершенно белы. До станции оставалось всего полверсты, и мы остановились.

– Только поскорее, – сказал я.

– В одну минутую, – отвечал Игнашка, соскакивая с облучка и подходя к Филиппу.

– Давай, брат, – сказал он, снимая с правой руки и бросая на снег рукавицу с кнутом, и, опрокинув голову, залпом выпил поданный ему стаканчик водки.

Цаловальник, должно быть, отставной казак, с полуштофом в руке, вышел из двери.

– Кому подносить? – сказал он.

Высокий Василий, худощавый, русый мужик с козлиною бородкой, и советчик, толстый, белобрысый, с белой густой бородой, обкладывающей его красное лицо, подошли и тоже выпили по стаканчику. Старичок подошел было тоже к группе пьющих, но ему не подносили, и он отошел к своим привязанным сзади лошадям и стал поглаживать одну из них по спине и заду.

Старичок был точно такой, каким я воображал его: маленький, худенький, со сморщенным, посинелым лицом, жиденькой бородкой, острым носиком и съеденными желтыми зубами. Шапка на нем была ямская, совершенно новая, но полушубчишка, истертый, испачканный дегтем и прорванный на плече и полах, не закрывал колен и посконного нижнего платья, всунутого в огромные валеные сапоги. Сам он весь сгорбился, сморщился и, дрожа лицом и коленами, копошился около саней, видимо стараясь согреться.

– Что ж, Митрич, поставь косушку–то: согрелся бы важно, – сказал ему советчик.

Митрича подернуло. Он поправил шлею у своей лошади, поправил дугу и подошел ко мне.

– Что ж, барин, – сказал он, снимая шапку с своих седых волос и низко кланяясь: – всю ночь с вами плутали, дорогу искали: хоть бы на косушечку пожаловали. Право, батюшка, ваше сиятельство! А то обогреться не на что, – прибавил он с подобострастной улыбкой.

Я дал ему четвертак. Цаловальник вынес косушку и поднес старичку. Он снял рукавицу с кнутом и поднес маленькую черную, корявую и немного посиневшую руку к стакану; но большой палец его, как чужой, не повиновался ему: он не мог удержать стакана и, разлив вино, уронил его на снег.

Все ямщики расхохотались.

– Вишь, замерз Митрич–то как! аж вина не сдержит.

Но Митрич очень огорчился тем, что пролил вино.

Ему, однако, налили другой стакан и вылили в рот. Он тотчас же развеселился, сбегал в кабак, запалил трубку, стал ослаблять свои желтые съеденные зубы и ко всякому слову ругаться. Допив последнюю косуху, ямщики разошлись к тройкам, и мы поехали.

Снег всё становился белее и ярче, так что ломило глаза, глядя на него. Оранжевые, красноватые полосы выше и выше, ярче и ярче расходились вверх по небу; даже красный круг солнца завиднелся на горизонте сквозь сизые тучи; лазурь стала блестящее и темнее. По дороге около станицы след был ясный, отчетливый, желтоватый, кой–где были ухабы; в морозном, сжатом воздухе чувствительна была какая–то приятная легкость и прохлада.

Моя тройка бежала очень шибко. Голова коренной и шея с развевающейся по дуге гривой раскачивались быстро, почти на одном месте, под охотничьим колокольчиком, язычок которого уже не бился, а скоблил по стенкам. Добрые пристяжные дружно натянули замерзлые кривые постромки, энергически подпрыгивали, кисточка билась под самое брюхо и шлею. Иногда пристяжная сбивалась в сугроб с пробитой дороги и запорашивала глаза снегом, бойко выбиваясь из него. Игнашка покрикивал веселым тенором; сухой мороз повизгивал под полозьями; сзади звонко–празднично звенели два колокольчика, и слышны были пьяные покрикиванья ямщиков. Я оглянулся назад: серые, курчавые пристяжные, вытянув шеи, равномерно сдерживая дыхание, с перекосившимися удилами, попрыгивали по снегу. Филипп, помахивая кнутом, поправлял шапку; старичок, задрал ноги, так же как и прежде, лежал в середине саней.

Через две минуты сани заскрипели по доскам сметенного подъезда станционного дома, и Игнашка повернул ко мне свое засыпанное снегом, дышащее морозом, веселое лицо.

– Доставили таки, барин! – сказал он.

11 февраля 1856.

Комментарий Н. М. Мендельсона

Толчком к написанию «Метели» послужило происшествие, случившееся с Толстым 24 января 1854 г., когда он возвращался с Кавказа домой, в Ясную поляну. Отметив в дневнике под 27 января, что он был в дороге с 22 числа, Толстой продолжает: «24 в Белгородцевск[ой], 100 [верст] от Черк[асска], плутал целую ночь. И мне пришла мысль написать рассказ «Метель».

В записи того же дня есть следующее место: «<Смешно сказать, что> Ничто так не порадовало меня и не напомнило мне Россию дорогой, как обозная лошадь, которая, сложив уши, несмотря на раскаты саней, галопом старалась обогнать мои сани». Эти строки представляются нам тоже связанными с замыслом «Метели», объясняющими, с одной стороны, те места рассказа, где особенно тщательно выписаны фигуры лошадей, а с другой – ту главу, где автор, под влиянием охватившей его дремоты, переносится мысленно в Россию, в свое имение, в среду близких ему лиц.

Следующее упоминание о «Метели» встречается более, чем через два года. Под 2 февраля 1856 г. Толстой записывает в дневнике: «Завтра привожу в порядок бумаги, пишу письма Пелагее Ильинишне и старосте и набело «Метель», обедаю в шахматном клубе и всё пишу еще «Метель...»

Работа была закончена 12 февраля. В этот день в дневнике отмечено: «Окончил «Метель», ей очень доволен». Сам Толстой был другого мнения. «Как понравилась тебе «Метель»? – писал он брату, С. Н. Толстому, вскоре после напечатания рассказа. – Я ею недоволен – серьезно».206

«Метель» была напечатана в III кн. «Современника» за 1856 г.

Журнальный текст рассказа не был выправлен с достаточной тщательностью и в дальнейших изданиях, несмотря на несомненно делавшиеся иногда попытки исправления, скорее ухудшался, чем улучшался.

В журнальном тексте «Метели», помимо легко поддающихся исправлению явных опечаток, грубых орфографических ошибок и мелких промахов, попадаются места, которые возбуждают сомнение, но которые тем не менее приходится оставлять без всякого изменения за отсутствием рукописей рассказа и корректур. Такова, например, фраза: «Впереди, на одном же расстоянии, убегают передовые тройки» (гл. V, стр. 128, строка 7).

Издание Стелловского (1864 г.) повторило журнальный текст, добавив к нему несколько новых ошибок. Например, вместо: «в переднем возу» – появилось: «в переднем углу» – чтение, дожившее до XI издания (гл. III, стр. 123, строка 36).

Несколько случайных пропусков изд. Стелловского были, в дальнейших изданиях, источником новых и не всегда удачных чтений. Сюда относится такой случай. Во фразе: «у них земель мало стало, и совсем хлеб рожать перестали земли» изд. Стелловского пропустило последнее слово, и в последующих изданиях получилось: «у них земель мало

стало, и совсем хлеб рожать перестал» (гл. III, стр. 123, строка 12).

О несомненных попытках исправления текста «Метели» после изд. Стелловского свидетельствуют многочисленные, систематические изменения видовых форм глагола. Таковы, например, «испытывал» вместо «испытал», «повторил» вместо «повторял», «обогнали» вместо «обгоняли» (гл. III), «начинали» вместо «начали» (гл. V), «спотыкнулась» вместо «спотыкалась», «дергала» вместо «дернула», «подкидывала» вместо «подкинула» (гл. VII) и т. д. Эти замены далеко не всегда улучшали текст, который к тому же продолжал обрастать новыми ошибками, иногда очень грубыми. Так, например, в VI гл. Федор Филиппыч бежит к пруду спасать утопающего, «на бегу надевая сюртук» (изд. XI, ч. III, стр. 54), вместо того, чтобы его снимать, как и было в первом печатном тексте. Отметим, что, начиная с IV изд., в гл. VI появилась существенная отмена: бегущая к пруду Матрена не стопятилетняя, а семидесятилетняя старуха.

Так как не сохранилось ни рукописей, ни корректур «Метели», и неизвестна доля участия Толстого в исправлениях текста после появления рассказа в «Современнике», мы даем в настоящем издании журнальный текст с исправлением очевидных опечаток и некоторыми отменами.

Во-первых, исправляем нумерацию глав: в «Современнике» следующая за VI глава помечена цифрой VIII, и неправильная нумерация идет до конца рассказа.

Во-вторых, вносим в текст следующие поправки:

Гл. II. Стр. 122, строки 8–9. Печатаем: охотницкий колокольчик – вместо охотничий колокольчик. Такое написание дано четырьмя строками ниже, и в начале главы упоминается охотницкое заведение.

Гл. V. Стр. 127, строка 15. Печатаем: останется – вместо: остается. Считаем, что в журнале опечатка.

Гл. VI. Стр. 130, строки 28–29. Печатаем: волоча одну ногу в шерстяном чулке, – вместо: волоча одну ногу, ногу в шерстяном чулке. Считаем, что в журнале опечатка.

Стр. 134, строка 18. Печатаем: половину ночи – вместо: половина ночи. Считаем, что в журнале опечатка.

Гл. VII. Стр. 136, строка 2. Печатаем: подпрыгивал – вместо: попрыгивал. Считаем, что в журнале опечатка.

Гл. VIII. Стр. 138, строка 18. Печатаем: чем же это кончится?

Ежели мы не найдем – вместо: чем же это кончится, ежели мы не найдем. Считаем, что в журнале опечатка.

Гл. X. Стр. 141, строки 34–35. Печатаем: Очертания и цвета спины ямщика и лошадей – вместо: Очертания и цвета, спины ямщика и

лошадей. Считаем запятую опечаткой.

Гл. XI. Стр. 143, строки 28–29. Печатаем: согрелся бы важно, – сказал ему советчик. – вместо: согрелся бы, важно сказал ему советчик. Считаем, что в журнале опечатка.

Сохраняем написания: перебудуться, перебулся (стр. 141, строки 6 и 16), не считая их опечатками, а передачей народного говора.

Примечания (сноски)

Комментарий Н. М. Мендельсона

206 ПСС. XXI, 145.